мемуары ребенка войны

Людмила Пожедаева

ВОЙНА БЛОКАДА Я и другие

Людмила Пожедаева

Война, блокада, я и другие… Мемуары ребенка войны

«КАРО»

2013

УДК 947
ББК 84:63.3(2)622

Пожедаева Л. В.

Война, блокада, я и другие… Мемуары ребенка войны /
Л. В. Пожедаева — «КАРО», 2013

ISBN 978-5-9925-0874-1

Блокада Ленинграда – одна из самых трагических страниц в истории человеческой цивилизации – и это есть в книге. Такого примера высокой стойкости духа, мужества, трагических последствий не знала человеческая история – и это есть в книге. Школьница в 16 лет в душевном порыве написала мемуары о том, как в 7 лет оказалась в адском хаосе войны, в страхе и боли, в ужасе, голоде, холоде блокады Ленинграда, а затем в Сталинграде; написала о том, как война калечит тела и души побежденных и победителей. Прочитайте! Еще долго будет трудиться душа! В формате a4.pdf сохранён «издательский.pdf»

УДК 947
ББК 84:63.3(2)622

ISBN 978-5-9925-0874-1

© Пожедаева Л. В., 2013
© КАРО, 2013

Содержание

Великая война на планете Земля 7
Мила Анина – Людмила Пожедаева 12
Сытость 14
Воспоминания 16
Память 18
Война 21
Встреча с войной 23
Конец ознакомительного фрагмента. 31

Мила Анина (Людмила Пожедаева)
Война, блокада, я и другие…
Мемуары ребенка войны

В книге использованы рисунки автора и фотографии из домашнего архива, а также материалы из обнародованных произведений и документов.

© Пожедаева Л. В., 2013
© КАРО, 2013

* * *

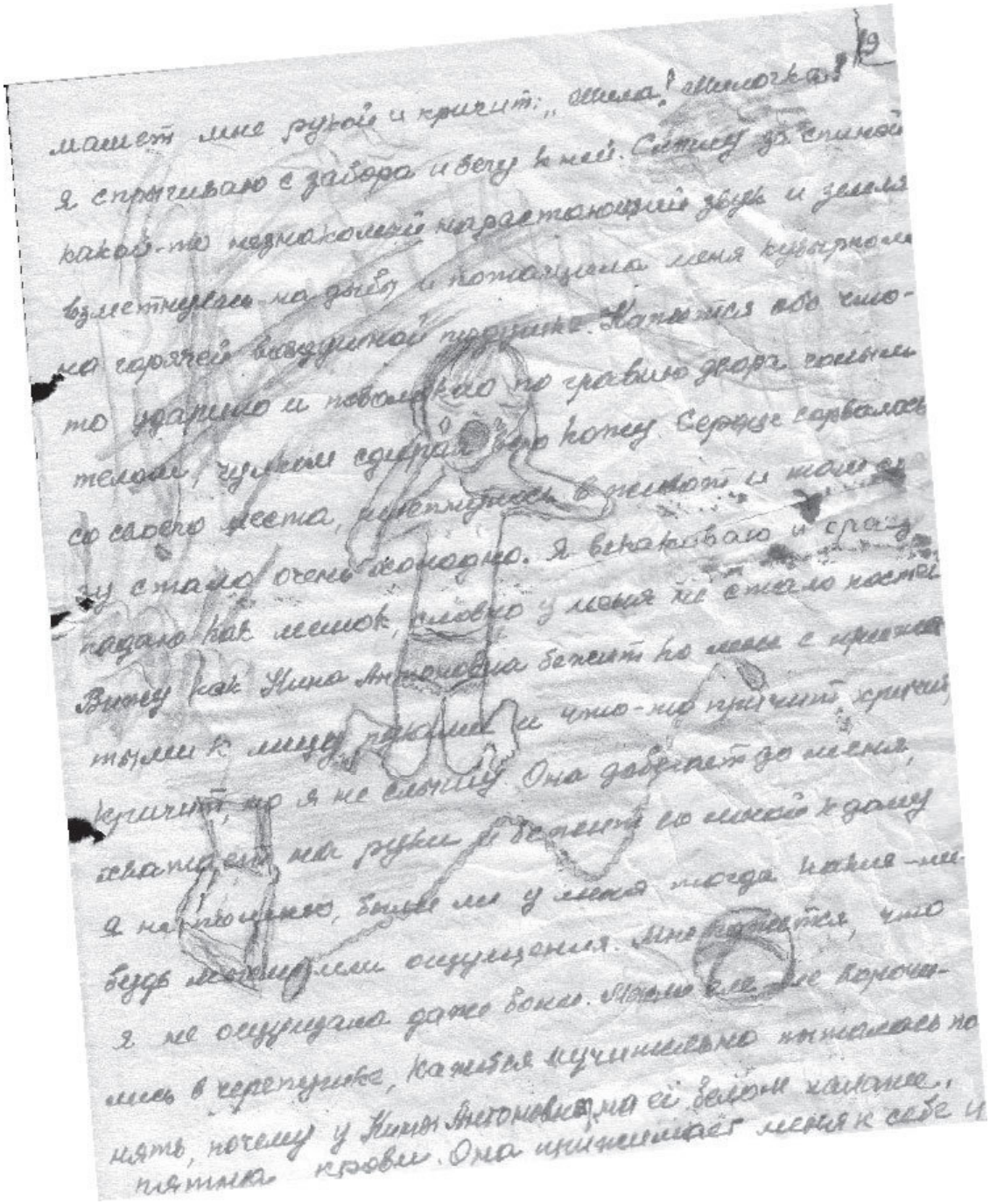
Книга обжигает и потрясает… Горе и радость, мужество и трусость, верность и предательство, жизнь и смерть, голод, одиночество, жгучий холод были «блокадными подружками» маленькой девочки Милы…

Город и люди, живые и мертвые, 900 дней и ночей вопреки всему противостояли разрушению, голоду, смерти… И в этом аду самыми верными и самыми хрупкими солдатами были дети…

Она должна была погибнуть в той страшной бомбежке, ее должны были раздавить железные гусеницы прорвавшихся немецких танков, она должна была умереть еще много раз, потому что такого не может вынести даже взрослый и сильный человек. Но, наверное, души и судьбы маленьких, таких же, как она, девочек и мальчиков оставили ее жить, чтобы она могла нам сегодня рассказать о той страшной войне, которую вели блокадные дети, большие и маленькие, как могли… и часто без взрослых, закрывая и спасая своими худенькими тщедушными тельцами нас, сегодняшних…

Эта книга – укор о забытом долге перед ними, детьми Ленинградской блокады, умершими, замерзшими, раздавленными фашистской танковой атакой, разорванными самолетной бомбежкой… И нам нужно этот долг отдать и живым, и мертвым…

Александр Конюшин, директор «ДОМА сотрудничества с ЮНЕСКО в Санкт-Петербурге и Ленинградской области»



Страничка из рукописи

Великая война на планете Земля 1941–1945 гг Слово о мемуарах

Мемуары написаны непредвиденно. Вероятнее всего, я их никогда бы не написала, если бы не случай.

Летом 1950 г. я случайно услышала откровения пожилой женщины, как они жили в блокадном городе. Этот рассказ и послужил поводом написать эти «Мемуары». Мне тогда только исполнилось 16 лет. Я училась в школе. И в те годы мне не доводилось что-либо читать или слышать о трагедии такого огромного города и его жителей в ужасающих условиях блокады. И вдруг я узнаю, не в виде версий, а из первых уст, что в умирающем городе, где голод правил свой жестокий бал, было много достаточно сытых, ни в чем не нуждавшихся людей. Именно это вопиющее откровение случайного человека и заставило меня схватиться за перо и написать все, как было у нас с мамой и как все было лично у меня – ребенка, встретившего войну в семь лет и прошедшего сквозь войну до Победы. Тогда все еще было слишком близко и слишком больно. Я не знала, что об этом писать нельзя. Именно поэтому в «Мемуарах» все предельно откровенно, как было на самом деле… Да и писала только для себя, для собственной памяти и никого не собиралась посвящать в свои обнаженные детские откровения. Тогда мне потребовалась острая необходимость выплеснуть, хоть на бумагу, всю боль и горечь ребенка, оказавшегося в эпицентре событий, и хоть чуть-чуть освободиться от давящей памяти.

Первый урок за мою откровенность мне преподал отец, когда к нему в руки попала моя тетрадь с записями. Он ее просто растерзал. «За такие художества могут посадить», – сказал он. Он много чего еще говорил… Потом я собрала обрывки страниц, что-то склеила, что-то отутюжила, что-то подшила. Многое пришлось переписать и заново нарисовать некоторые рисунки.

Переписывать пришлось в школе после уроков. Мне уже из принципа хотелось восстановить свои записи и обязательно сохранить их.

У нас была душевная и мудрая классная дама – Роза Менделеевна Сумецкая. Долгая и светлая ей память! Мы всегда могли прийти к ней с любой проблемой. Когда она застала меня в классе за перепиской изуродованных листов и узнала, что произошло, попросила ознакомить ее с записями. А потом у нас был долгий и ошеломляющий разговор. Она мне многое объяснила, о чем я даже не подозревала. Затем она сказала, что, если я не хочу неприятностей себе, своим родным и близким, у меня все же есть два выхода. Один – я действительно должна уничтожить свои записи. Лучший вариант – сделать копию и спрятать оба экземпляра в разных, но очень надежных местах и забыть о них до лучших времен, если таковые наступят. «А до той поры больше никому не показывай и никому ничего не говори», – сказала она. Я предпочла второе.

С тех пор прошло почти сорок лет. Жизнь преподносила множество разных сюрпризов, и я действительно забыла о своих спрятанных «Мемуарах». К тому же, к сожалению, я уже сидела в инвалидной коляске – последствие травмы позвоночника в июле 1941 г., когда детей Ленинграда город отправлял к линии фронта прямо навстречу наступающему врагу. Это безрассудство называлось эвакуацией. По рассекреченным данным, за период с 29.06.1941 г. по 27.08.1941 г. было эвакуировано из Ленинграда:

а) ДЕТЕЙ 395 091, из них возвращено в Ленинград 175 400. («Ленинград в осаде». Сборник документов о героической обороне Ленинграда в годы ВОВ 1941–1944 гг. Документ № 142, с. 301. Лики России. СПб., 1995.)

И гибель детского эшелона на станции Лычково, и немецкий танковый прорыв в Демянске, где было много эвакуированных из Ленинграда детей, – все шло под грифом «бои местного значения». Они в историю не входят. К тому же надо учесть, что Демянск июля 1941 г. и «Демянский котел» 1942–1943 гг. – разные по срокам и значимости события. Но о детской трагедии нигде, никогда, ничего не сообщалось, кроме «сарафанного радио». Узнав о трагедии, родители бросились в те места на поиски своих детей. А город молчал. Молчит практически и по сей день. А мы, выжившие в той бойне, помнили и помним, но долгие годы молчали, как молчали и о блокаде, и о ее последствиях. И как-то неожиданно в 1988–1989 гг. вдруг активно заговорили о блокаде и блокадниках. И я вспомнила и извлекла из небытия свои детские «Мемуары». Моя сохранившаяся пухлая тетрадь заговорила недетской болью. Для меня самой через сорок лет молчания рукопись стала новым потрясением. Нет, я и без нее ничего не забыла, но приглушилась боль, оставленная войной. Теперь все это молча кричало со страниц школьной тетради. Стихи, рисунки, рассказы – все из той прошедшей жизни ребенка периода войны. Стихи – это не стихи, как таковые, это зарифмованные подлинные события, размышления и восприятие тех событий. Очевидно, тогда, в мои 16 лет, когда это было написано, мне казалось, что зарифмованные факты более точно, образно и емко рассказывали о происходивших и пережитых событиях. В основном на рифму легли самые кульминационные события и моменты. Это те же, но зарифмованные рассказы. Мои «Мемуары» – «маленькие трагедии» маленького человека в большой войне больших людей. Это весь путь войны ребенка с самых первых ее дней до последних. И это всего лишь одна история маленького человека. А если бы записанных детских историй было больше, тогда и лицо войны можно было бы увидеть и осознать в полном объеме, а не в усеченном, как нам ее представляют. Война – это не только «человек с ружьем». Это весь народ, попавший под ее молох, в том числе и дети, самая незащищенная и беспомощная его категория.

С трагических событий войны прошло более 60 лет. И было это в XX веке. И жили мы тогда в другой стране, которая называлась СССР – Союз Советских Социалистических Республик. Многое изменилось с тех пор. Распался «Союз нерушимый республик свободных», как пелось в нашем бывшем гимне. Союз оказался не таким уж и «нерушимым», да и та «свобода» была ущербной, и мало кого устраивала, и все республики разбежались в разные стороны от тирании «старшего брата», загубившего страну-победительницу. И живем мы теперь в совсем другой стране, в другом государстве, при другом правительстве, другом строе, другой политике. Да и век на дворе уже XXI. Стали ли мы жить лучше? Увы! Побежденные в войне живут и процветают. Мы же как жили в режиме постоянного тревожного ожидания, так и живем. Стали ли мы более свободными? Если разнузданность, бесстыдство и аморальность во всем – это свобода, то да. Мы стали более агрессивными, беззастенчивыми, безжалостными даже к самим себе. А лично для меня самое огорчительное и абсолютно непонятное – что перегрызлись и постоянно грызутся между собой блокадники – люди, пережившие клиническую смерть вместе со своим городом. И основным раздражителем для них и для города, как ни странно, стали дети блокады. Уже более десятка лет идет самое настоящее моральное «избиение младенцев». Их оголтело, хором «предают за тридцать сребреников». Нашли с кем воевать! Мы откровенно расче-ловечились! Война и бездарное государство со своими двойными стандартами и политикой разрушают души и разум людей. Дети и старики – тот оселок, на котором проверяется благонадежность государства, его порядочность. У нас – это самые запущенные и практически выброшенные из жизни граждане.

«Мемуары» – моя детская правда о войне, месте и положении в ней ребенка. Это моя правда, никем не санкционированная, не навязанная и не придуманная во имя эфемерной идеи или коллективной памяти – «как надо». У каждого из нас была своя война, своя блокада, свой Сталинград… в общем масштабе горя. Жаль, что детей вывели за рамки памяти о войне. А то ничтожно малое, что пробивается через сформированную общественную память,

так ничтожно, что не дает представления о масштабах детских трагедий периода войны. Но МЫ БЫЛИ! И о нас помнят! Жаль, что далеко от Ленинграда-Петербурга, но помнят. И спасибо людям, которые помнят о маленьких мучениках Ленинграда и не склоняют их за то,

Что не работали для фронта…
Что даром ели Хлеб чужой…
На крышах вахту не стояли
Суровой, гибельной зимой…

В госпиталях не врачевали…
И… в несодеянных грехах…
Что серп и молот не держали
Мы в дистрофических руках…

В пустых квартирах вымирая,
Не знали мы, что в мирный час
Спустя полвека – так случится —
Восстанет город против нас!

А на станции Лычково Новгородской области, где 18 июля 1941 г. фашисты разбомбили эшелон с Ленинградскими Детьми, отправленными в эвакуацию к линии фронта, местные жители до сих пор бережно сохраняют нашу безымянную, детскую, братскую могилу погибших тогда детей. Вначале там была скромная солдатская пирамидка со звездочкой и с лаконичной надписью: «Ленинградские дети». Теперь там мраморная плита и мраморная стела. К сожалению, на ней указана ошибочная дата – «в августе». Но по официальным данным бомбежка была 18 июля 1941 г.

К 60-летию Победы ветераны с. Лычкова решили поставить на привокзальной площади Памятник погибшим детям. В 2002 г. они объявили акцию «Ленинградские Дети». Средства шли со всей России. 4 мая 2005 г. Памятник был открыт. Открытие было многолюдным и торжественным. Было много гостей «со всех волостей». Было несколько выживших после той бомбежки детей. Гостеприимство местных жителей было удивительно теплым и искренним. Нас встречали как родных. И все же лично меня огорчило посвящение на Памятнике. Акция была «Ленинградские Дети», но по каким-то непонятным соображениям Памятник переадресовали «Детям, погибшим в Великую Отечественную войну 1941–1945 гг.».

Непостижимо! У детей Ленинграда тихой сапой умыкнули Демянск, Лычково, блокаду и вот теперь – изначально посвященный им Памятник. А Памятник сталинградского скульптора В. Фетисова очень трогательный. В огромном языке пламени из красного гранита бронзовая девочка в коротеньком платьице с испугом смотрит в небо. По щеке катится слезинка. Одна рука прижата к сердечку, другая, с раскрытой ладошкой, отведена в сторону. И во всей ее подавшейся вперед фигурке – словно кричащий вопрос, обращенный ко всем: «За что?!» Но родной город не слышит голоса своих погибших и выживших детей… Жаль, что подобного Памятника нет в нашем городе, потерявшем огромное количество своих детей. И это парадокс.

Есть и еще один парадокс. В далеком Красноярске осевшие там после эвакуации блокадники 7 мая 2005 г., тоже к 60-летию Победы, открыли дивный, очень ленинградский Памятник «Детям войны – детям блокадного Ленинграда». На фоне решетки Летнего сада, в символически разорванном кольце две закутанные в шали детские фигурки – девочка с кусочками хлеба в ладошке и рядом маленький мальчик с бидончиком. За ними традиционный блокадный атрибут – детские саночки, на которых в блокаду возили воду и покойников.

Факты, что оба Памятника, посвященные детям Ленинграда – погибшим и блокадным, поставлены не в их родном городе, а далеко от него, говорят сами за себя. И теперь они будут напоминать всем беспамятным ханжам, что мы – дети фронтовых зон, дети войны – были! Мы были в ней и на ней не сторонними зрителями. Мы были самой беспомощной, самой страдательной стороной в этой бойне бездарных политиков…

А Памятники наши поставлены именно там, где вопреки всему выжили Душа и Совесть России.

Л. Пожедаева
2005 г.

1950 г.

Мила Анина – Людмила Пожедаева
Мемуары ребенка войны

Клянусь!
Говорить правду,
только правду,
ничего кроме правды!

Постарайся помнить,
как нас распяли без Креста
и Голгофы. Но стал тем
жертвенным Крестом наш
город, и поставили его
на Голгофе войны и блокады

Сытость

Трудно сказать, что именно заставило меня оторваться от книги. Сильно толкнуло сердце. Меня качнуло от этого толчка, и я почувствовала, как что-то непонятное защемляет душу. И вдруг – вот оно… Чужой, монотонный голос рассказывает совершенно невероятные вещи. Прислушиваюсь, и мне становится тревожно и жутко. «Конечно плохо, когда есть хочется. Но и нам тогда не легче было, хоть и ели вдоволь. Картошку-то бывало почистишь, а очистки-то куда девать? Люди-то ведь как звери тогда были. И отдать нельзя, и выкинуть боязно – разорвут ведь, удушат… Чего только не придумывали, как избавиться от отходов…»

Встряхиваю головой. Уж не мерещится ли? Не наваждение ли? Нет! Все тот же голос спокойно продолжает рассказ о блокадной жизни… о том, как у них было все, что и до войны… что не было у них ни в чем нужды… Были у них и булка, и мясо, и картошка, и разные консервы, сало, вино и коньяки, конфеты, шоколад и даже пирожные… Вот и оставались отходы, которые они выбрасывали, как и до войны… Нет! Это невероятно! Этого не могло быть! Люди умирали от голода, а тут… от-хо-ды!

К горлу подступает удушье… стучит в висках… начинает бить дрожь… Я сама еще до сих пор не наелась… Я все время хочу есть. Я стараюсь не вспоминать ту страшную военную зиму 1941–1942 гг.

Встаю и на ватных ногах иду на голос. В кухне сидит мама и наша случайная гостья, которая и рассказывает эти странные вещи. Мама, с бледным лицом, как-то странно сглатывает воздух, словно давится. Но гостья этого не замечает. Это мать полковника К. Н. Осыко – сослуживца отца. Ее я не знаю совсем и вижу впервые.

Мы живем в поселке под Гатчиной, и в школу я каждый день езжу на поезде именно в Гатчину. После войны, в 1946 г., наш дом сломали как аварийный. Родителям сказали, что мы потеряли право на жилье в Ленинграде, так как в декабре 1945 г. мы уехали к отцу в часть по месту его службы. Но с 1949 г. отец служит в ЛенВО. Он старший офицер и не волен сам решать свои проблемы. Он даже писал Ворошилову, но ответ тоже пришел отрицательный. Родители, помыкавшись с нами по чужим углам, купили полдома под Гатчиной в рассрочку на два года. Дом, да и весь поселок без электричества и без радио. Живем при керосиновой лампе. Вот и гостит сослуживец отца со своей матерью у нас, как на даче.

Я не слышала начала разговора. Видимо, вспоминали войну, и то, что я услышала, потрясло меня, и понятие справедливости и несправедливости приобрело для меня страшные оттенки. Гостья даже не пыталась скрыть чувства превосходства и самодовольства. Человек не понимал того ужаса, когда одни не только ели, но и выбрасывали еду, а другие умирали от недостатка этой еды. Разве такое может быть? Может, она лжет? Ведь нас учат, что у нас самая справедливая страна в мире.

В конце концов мама не вынесла этой пресыщенной особы и выгнала ее. Отец рассердился, и они поссорились.

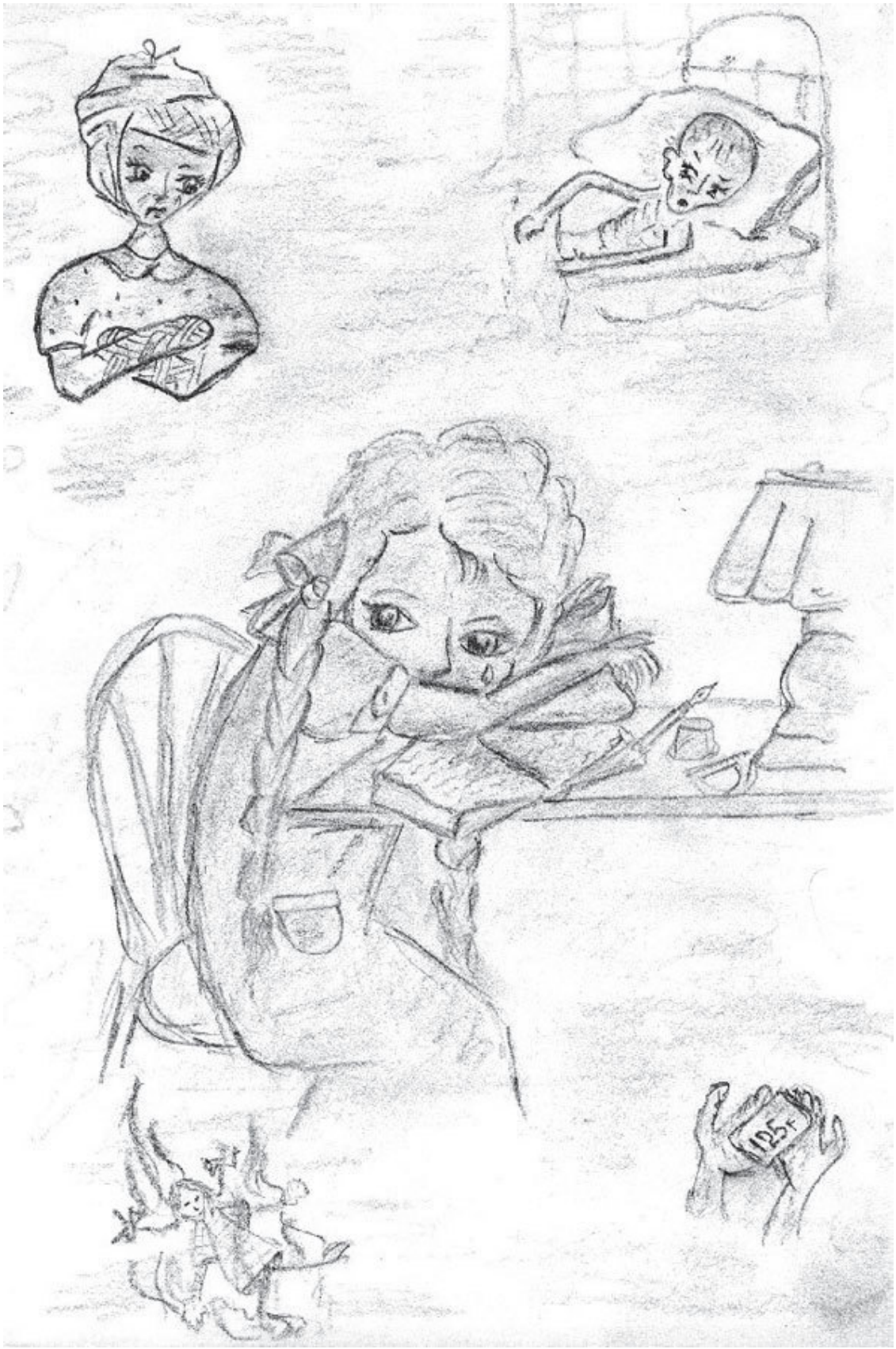
А вообще дома отношения никакие… Бабушка и тетя написали отцу на фронт, что мы с мамой умерли в блокаду от голода. Отец все же будет нас искать, и к ноябрю 1945 г. мы получим от него первое письмо за всю войну. А в декабре он забрал нас по месту своей службы. И мы не знали, что после этого мы потеряем право на получение жилья в Ленинграде. Родители почти все время выясняют свои отношения – кто больше выстрадал, кто перед кем больше виноват, и постоянно склоняются фронтовые ППЖ (полевые походные жены). Война ужасно изменила их обоих и ничего не оставила от них довоенных. Мы с братом стали «лишние люди», лишняя докука, и поэтому мы как бы сами по себе. А мама очень больна. У нее совсем слабые легкие, и ее часто мучает жестокий кашель. И сердце у нее слабое. И у нее нет ни одного своего зуба после блокадной цинги. А ей всего 40 лет. Нас с братом она часто упрекает, что из-за нас

остается голодной. А мы действительно живем на полуголодном пайке. Обед бывает редко. В основном кусочничество. Когда в доме бывает Красносельский батон и кусок «собачьей радости»[1] – это уже праздник. Брат покрепче, а у меня постоянно кружится голова, и я часто совсем неожиданно падаю. Врач говорит, что если так будет продолжаться и дальше, то меня снова освободят от экзаменов. Учусь я хорошо, но трудно – быстро устаю и не могу собрать мысли – они разбегаются в разные стороны, и мне не сосредоточиться. Все время мучительно хочется спать, спать, спать… В Военно-медицинской академии мне вырезали аппендицит, шов долго не срастается, расползается и гноится. Его снова чистят и снова шьют. От этого он стал очень широким и длинным. Распахали полживота. Меня давно уже выписали, но я постоянно езжу в город на перевязки и лечение. Врачи говорят, что это авитаминоз и что так же было у раненых в период блокады. Но блокады давно уже нет, а меня все дразнят «дохленькой». Так вот, мама по состоянию здоровья работать не может. Мы с братом учимся, и отцу одному, конечно же, тяжело тянуть нас всех на одну зарплату. Он еще помогает бабушке, посылая деньги в Горький. Да еще и выплаты за купленную половину дома. Вот и получается, по народной пословице: «Один с сошкой, семеро с ложкой». Я хотела пойти в ремесленное, чтобы начать поскорее зарабатывать, но отец страшно разгневался. Так что есть хотим все. А тут еще эта старуха со своими издевательскими откровениями. Именно эти пресыщенные откровения заставили меня записать свои воспоминания о своей блокаде, о своей войне, о своих горестях – детских и недетских страданиях, выпавших мне и маме. И пусть эти записи останутся мне на память, чтобы не забыть. Зачем? Не знаю! Но пусть лучше они теперь будут…

Сейчас лето 1950 г. Мне 16 лет.

Когда началась война, мне было неполных 7 лет… 7 лет мне исполнилось 28 июля 1941 г. И в первый же месяц войны я была изувечена… еще до дня рождения…

[1] «Собачья радость» – самая дешевая «докторская колбаса».



Воспоминания

Воспоминанья хлынули лавиной…
Они способны раздавить меня.
Война, блокада, страхи и болезни,
Берггольц, бомбежки, лютая зима…

Подружка по блокадной коммуналке,
Огрызки довоенных карандашей…
И на дрова поломанные стулья,
Вода, к утру замерзшая в ковше.

Стихи и сводки, голос Левитана…
Смерть бабушки и наш истошный крик…
Буржуйка, кипяток… истерзанный младенец…
В углу у бабушки печальный Божий Лик…

125 святых, бесценных граммов
Святого Хлеба… очередь за ним…
Вода из грязного растопленного снега
И похожденья долгие за ним…

Постель холодная и комната без света.
И мышь голодная без страха… на столе…
«Тарелка» репродуктора на стенке
И светомаскировка на окне.

Стук метронома жесткий и тревожный,
И вой сирены, и смертельной страх…
И мама неестественно худая,
И тетя Ксенья в стареньких очках…

Собачий суп и варево из клея,
Украденные карточки на Хлеб…
И одиночества тягучие недели.
На грани смерти мой голодный бред…

Машина, Ладога, кругом вода, теплушка,
Болезнь мамы… стук колес и… вши…
И госпиталь – плавучие палаты,
И боль чужая, смерть… и вопль Души.

Нет, и детей война не пощадила.
Нас повзрослеть заставила нужда.
Я стала малолетнею старухой…
Все видела… все знала… все могла…

Воспоминанья хлынули лавиной,
Они способны раздавить меня…
И вспоминать не хочется блокаду —
Все снова пропускать через себя…

Память

Я меньше взрослых помню о блокаде,
Но и о малом тяжко вспоминать…
Мы пухли с голода и мерзли в сорок первом…
Возможно ль страх словами передать…

Он был неузнаваемый, мой город,
Продрогший и голодный, как и все.
За ним, как и за мною, гнался голод,
И смерть держала нас на поводке.

Как одиноко в ледяной постели
Пережидала я тягучесть дня,
А метроном все щелкал в изголовьи,
За каплей капля, голову долбя.

Или вещал эфир в голодный разум,
Как в чью-то честь был дан обед в Кремле…
И рыбий жир, кусочек Хлеба с солью
Мерещились на праздничном столе.

Что знала я о праздничных обедах?
Мой праздник – Хлеб да кружка кипятка,
Огонь в буржуйке да еще пластинка
На старом патефоне… иногда…

О чем еще? Как суп собачий ела?..
Тот, что из жалости соседка принесла?
Или о том, как карточки украла
Родная тетка, бросивши меня?

Еще о чем? Как крыса Хлеб мой съела,
Припрятанный в кастрюльке на обед?
Да мало ли, да мало ли их было,
Больших и малых тех недетских бед…

Да разве мне одной они достались…
Да разве я одна хотела есть…
Но где-то рядом сытно жили люди,
Поправшие гражданский стыд и честь.

Но что им был мой детский плач голодный…
Мой серой кожею обтянутый скелет…
И тысячи от голода умерших…
Зато в Кремле был праздничный обед…

Зато за стенкою или в соседнем доме
Жил припеваючи, не зная наших бед,
Какой-нибудь торгаш или начальник…
И у него был праздничный обед.

Они своим куском не поделились…
Нет! Не своим! МОИМ! ТВОИМ! ЕГО!
И сытые прошли по многим трупам.
Как мародеры или воронье…

Они нас предали, отдав на поруганье
И Ленинград, и жителей его —
Блокаде, смерти, страху и морозу…
Проклятье им! И вечное клеймо.

Я не прощаю им и им подобным
Воинственно скупую сытость их.
Как и враги, они нас убивали,
С голодными куска не разделив.

Да что им наше горькое прощенье…
Им, сытым, не понять голодных нас…
Но вспомнит ли когда-нибудь Отчизна
Детей блокады… их предсмертный час?

Мы вырастим, состаримся, кто выжил,
И пронесем с собою память лет —
Холодных, страшных, горьких и голодных,
Больших и малых тех блокадных бед…

Нет оправданья нашим дням блокадным,
Нет оправданья всем, кто ел за нас…
Пресыщенности сытой и бесчестной,
Предавшей ленинградцев в смертный час…

Война

Я с детским садом на даче в Сиверской. Дача стоит на высоком берегу реки Оредеж, и к ней спускается длинная деревянная лестница. Места дивные, и детская Душа моя живет восторгом этого прекрасного мира. Мне просто хорошо и спокойно, хотя тогда я этого объяснить не могла. Я просто жила и радовалась, как все дети кругом.

На участке нашей дачи совсем незнакомые люди роют окопы. Мы не знали, что это такое и зачем, и дружно решаем, что это нам делают для игры, и мы очень радуемся. Когда люди уходят, мы бегаем по этим извилистым лабиринтам. Там можно прятаться. Мы уверены, что там сделают деревянный пол, стены поклеют обоями или покрасят, а чтобы нас не мочил дождь, сделают крышу. А пока нас ругают, потому что мы там очень пачкаемся. Но окопы продолжают рыть, а мы продолжаем там играть.

Потом вдруг нас начинают стричь наголо. Девочки постарше плачут, сопротивляются. Но нас продолжают стричь. Я долго бегаю по даче, прячусь. Мне жаль моих косичек. За мной бегает воспитательница младшей группы Нина Антоновна. Мне всегда казалось, что она меня любит. И поэтому мне совсем не понятно, за что она хочет меня остричь. Я пытаюсь перелезть через забор и спрятаться под деревянной лестницей, ведущей к реке, но повисаю на платье и оказываюсь в руках у Нины Антоновны. Она сжалилась надо мной и оставила мне челочку. А я все плакала и кричала, что мама теперь меня не узнает. Мама меня узнала и почему-то совсем не удивилась. Она приехала на дачу не в родительский день и сказала, что началась война и папу забрали на фронт. Я тогда ничего не поняла, но помню, что первый раз мама показалась мне некрасивой. Она всегда была красивой, веселой, любила петь и играла на гитаре. А тут она была очень грустной. Лицо почему-то было серое, щеки провалились, и стали торчать скулы, которых у нее никогда не было. Потом приезжали и другие мамы, и все говорили – «война». И мы с упоением играли в свою войну – «убивали и ранили» друг друга, затем воскресали, наступали, отступали… Делали из травы и цветов разные «лекарства». Все хотели быть командирами и никто – фрицами. До хрипоты орали «Ура!» и «Хенде хох!», сдирали в кровь коленки, ползая по-пластунски. В общем, жили своей детской жизнью. И вдруг нас почему-то везут домой, в город, хотя лето только началось. Нам сказали, что нас повезут на другую дачу, вот только заедем домой и поедем дальше. Меня в городе никто не встретил. Я долго болталась по двору одна. Квартира была закрыта. Мама пришла с работы только вечером. Ей никто не сказал, что нас вывозят с дачи. На другой день началась какая-то непонятная суматоха. Меня фотографировали – одну и с мамой. Мама покупала мне много разных сластей – шоколада, конфет, печенья, пирожных… Она пришивала к моим вещам лоскутки с моей фамилией и именем, с адресом и еще какими-то данными. К пальто, кофтам и другим вещам пришивала кармашки и в них вкладывала маленькие фотокарточки – свою, мою, папы и братика – и записки с нашим домашним адресом, на случай если я вдруг потеряюсь. А я никак не могла понять, почему я должна теряться – ведь я уже совсем большая, мне скоро будет семь лет.

…О братике я думала, что он на даче, но мама сказала, что он с яслями тоже поехал на новую дачу… Он вернется в нашу семью только в 1947 г.

И вот нас снова сажают в поезд. Вагоны показались чудными, и их почему-то называют «телячьими». Мамы нас тискают, плачут, все кричат, толчея, суета, теснота… Мы прощаемся, и я снова не понимаю, почему все мамы плачут, ведь мы едем на новую дачу и в родительский день все они к нам приедут. И не знали мы, что уже никогда не будет никакой дачи, никакого родительского дня и что многие из детей никогда не увидят своих родителей, а родители – детей. Никто тогда не знал, что нас повезут под Новгород, навстречу наступающему врагу и что мы встретимся с войной раньше, чем наш город…

А пока я сижу вместе с другими детьми на нарах, где-то под потолком вагона, потому что в этом вагоне нет ни длинного коридора, ни уборной, ни спальных полок, а всего двухэтажные нары в разных концах вагона. Это очень интересно. Через плечо у меня висит тряпочная сумка, а в ней аж пять плиток шоколада в очень красивых обертках. Они не дают мне покоя. Я достаю их по очереди, и мы тут же их съедаем все сразу. Жарко. Душно. Шоколад тает и липнет к рукам. Нам нравится, что мы все перемазаны, что радостно стучат колеса, эта широкая, необычная полка, и впереди новая дача и длинное-длинное лето…

О войне мы ничего не знаем толком, а потому нам совсем не страшно, а даже весело от необычности обстановки… Мы не знали, что нас везут на новую дачу к немцам. С нами ехала наша детсадовская нянечка тетя Маша. На одной из остановок она с другой незнакомой женщиной пошли на станцию с огромной кастрюлей и огромными чайниками, чтобы принести нам еду – кашу, чай и Хлеб с Булкой. На обратном пути наши кормилицы задержались, а может, поезд тронулся раньше времени. Они бежали к отходящему поезду с тяжелой ношей. Уже на ходу воспитатели приняли у них кастрюлю с кашей, чайники и мешок с Хлебом, а потом стали втаскивать нянечек за руки и за шиворот в вагон. Хорошо, что двери в телятнике были широкие. Потом мы видели, как тетя Маша лежала на краю полки, вытянувшись, свесив руку, и тяжело дышала. У нее была черная, толстая, длинная коса, которую она закручивала на затылке. Теперь коса свешивалась с полки на пол и скрутилась на нем кольцом как змея. Потом мы узнали, что тетя Маша умерла. Нам сказали, что она угорела, когда они с тяжелой кастрюлей, чайником и мешком с Хлебом за спиной бежали к отходившему от станции поезду. Эта была наша первая потеря, хотя над нами не прогремел еще ни один выстрел, не упала ни одна бомба… Мы поехали дальше навстречу войне…

Сколько мы так ехали – не знаю…

Встреча с войной

Не знаю… Не помню… Лучково или Лычково. Демьянск или Демянск.

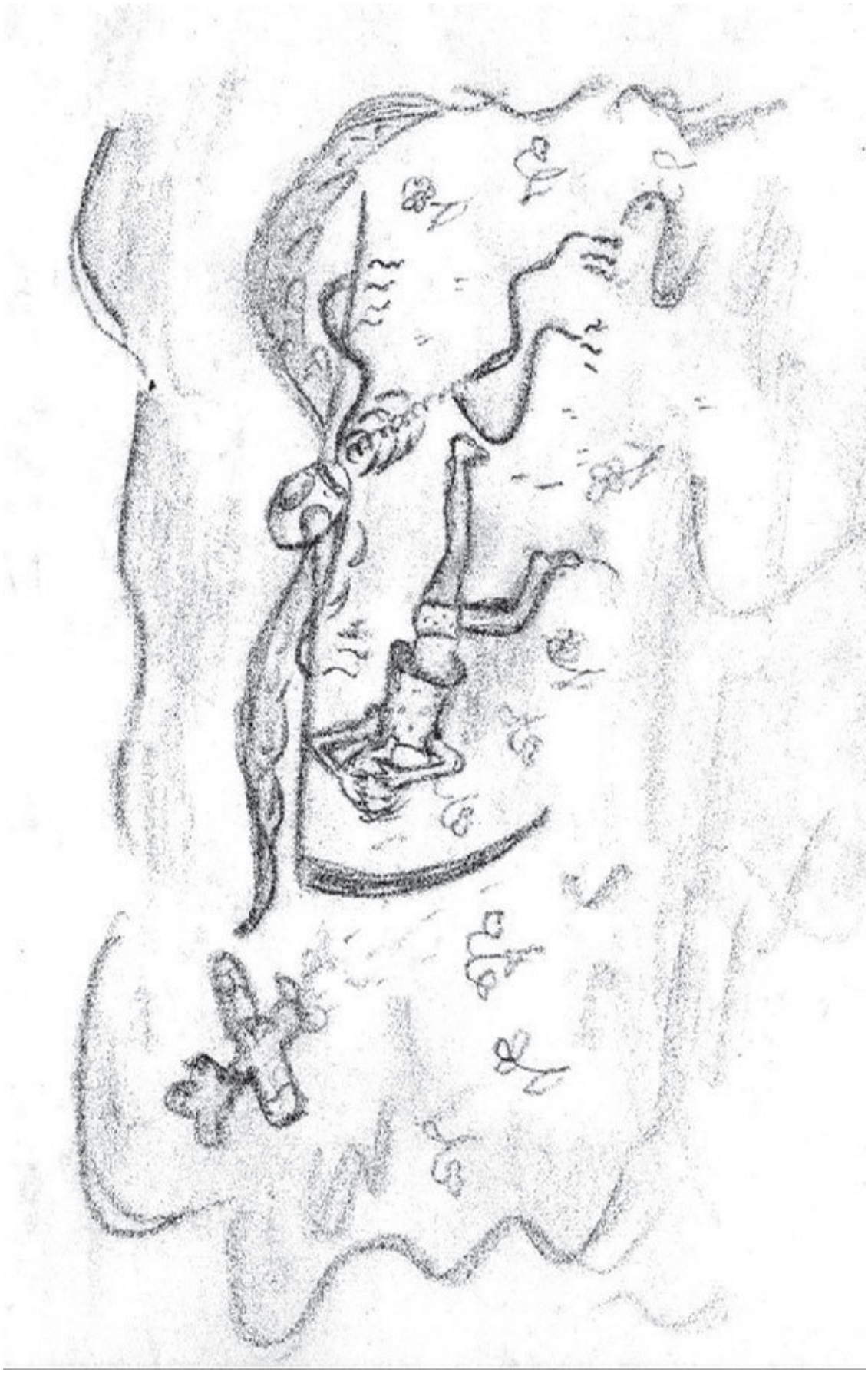
Почему-то запомнились именно эти названия. Но что они значат? Город? Станция? Поселок? Наверное, они находились где-то близко друг от друга. Судя по последовательности происходившего, мы вначале были в Демянске, где и попали под немецкий танковый прорыв. Потом нас повезли в Лычково, где нас бомбили немцы. Нам еще раньше говорили, что нас повезут на новую дачу, которая называлась «тыл». Но ни Демянск, ни Лычково не были похожи на дачу…

Живем мы в двухэтажном каменном доме на первом этаже. Спим все вместе вповалку, на расстеленных на полу матрасах. На втором этаже живут военные. Говорили, что на нашей крыше стоит пушка – сбивать немецкие самолеты. Нам ее не видно, хотя посмотреть очень хочется. Днем гуляем в маленьком дворике, огороженном деревянным заборчиком. Нам все интересно. Кругом много военных. Мы пристаем к ним с вопросами и везде суем свои носы. Мы – это детский сад Кировского района Ленинграда. И ведем себя соответственно нашему возрасту. За заборчиком, через дорогу, речка. Перед сном нас водят туда мыть ноги, а днем мы украдкой бегаем туда сами, и нам за это попадает от воспитателей. После ужина желающие усаживаются на крылечке, и нам читают или рассказывают сказки. Так мы живем.

Однажды случилось страшное. Неожиданно началась стрельба, на которую мы не обратили особого внимания. А в небе с ревом появились самолеты. Мы, задрав головы, глядели на них и, показывая пальцами, прыгали и визжали от восторга. А день был жаркий, солнечный, и небо чистое-чистое, голубое-голубое. И самолеты! Мы, наверное, тогда так и не поняли – наши или нет. И не знали мы, что это был наш последний восторг, а до трагедии оставались секунды…

На улице поднялась суматоха. Поднимая неимоверную пыль, громыхали телеги, носились жители и военные. Улица то пустела, то снова заполнялась людьми. Все что-то кричали,

вопили, и был слышен истошный мат и громовое «Танки! Танки!». Мы, не зная, что такое «всамделишная» война, бросаемся к забору и глазеем, как взрослые играют в свою взрослую войну. Кругом что-то грохочет, стрекочет, ухает. Уже не видно чистого голубого неба. Приближается рев мотора, и по улице очень быстро пронеслось грязное большущее железное чудовище, оставляя за собой клубы дыма, пыли, гари и вони, которые полезли в рот и в нос. Едкий запах и дым от танка щипал глаза. Дети облепили весь забор, и все мы о чем-то спорили, что-то доказывали друг другу. А танки начали выползать с разных сторон. Сейчас я уже не помню, но, кажется, они не стреляли. Стреляли где-то вокруг. В промежуток между грохотом услышала, что меня зовут. Оглядываюсь и вижу, как последние дети вбегают на крылечко и в дом, а Нина Антоновна машет мне рукой и кричит: «Мила! Милочка!» Я спрыгиваю с забора и бегу к ней. Слышу за спиной какой-то незнакомый нарастающий звук, и земля взметнулась на дыбы и потащила меня кувырком на горячей воздушной подушке. Кажется, обо что-то ударило и поволокло по гравию двора голым телом, чулком сдирая всю кожу. На меня что-то падало и больно молотило по всему телу, засыпая всякой всячиной. Дым и земля лезли в рот, в нос и глаза… Давило уши, ужасно шумело в голове… Сердце сорвалось со своего места, шлепнулось в живот, и там сразу стало очень холодно. Я вскакиваю и сразу падаю как мешок, словно у меня не стало костей. Вижу, как Нина Антоновна бежит ко мне с прижатыми к лицу руками и что-то кричит, кричит, кричит, но я не слышу. Она добегает до меня, хватает на руки и бежит со мной к дому. Я не помню, были ли у меня тогда какие-нибудь мысли или ощущения. Мне кажется, что я не ощущала даже боли. Мысли еле-еле ворочались в черепушке. Кажется, я мучительно пыталась понять, почему у Нины Антоновны на ее белом халате пятна крови. Она прижимает меня к себе и бежит, бежит, и мне кажется, очень медленно и очень долго. Лицо мое повернуто к забору, где я только что стояла, – и на том месте огромная яма. Ни забора, ни дерева – ничего! Пусто! Дыра! На крыльце уже никого нет, все дети в доме. Мы успеваем преодолеть крыльцо, как снова взрыв, и Н. А. падает вместе со мной, но уже в коридоре. Я как тряпочная кукла в ее руках – немая, глухая, с обвислыми руками и ногами. Меня кладут на матрас возле двери. В голове все кружится, словно я на карусели; из ушей почему-то течет кровь. Наверное, меня что-то спрашивают, но я ничего не понимаю. Они открывают рты, как рыбы, а я их не слышу. Я действительно как тряпочная кукла. Меня всю ощупывают, зачем-то сгибают ноги и руки, мажут, бинтуют… Видимо, опять взрыв, вздрагивает дом, и из окон вылетают все стекла. У всех детей искаженные от ужаса лица. Глядя на них, понимаю, что они кричат и плачут, прыгают и бегают по матрасам и в комнате настоящий хаос. Удушливо пахнет выхлопными газами, проникающими через разбитые окна, и нечистотами, потому что от страха все дети какают под себя. Воспитательницы пытаются заткнуть окна матрасами и подушками. К нам часто забегают наши соседи-военные и о чем-то разговаривают с воспитательницами. Странно, вроде у меня ничего не болело, кроме шума в голове, – и вдруг заболело все сразу. У меня разламывается голова, меня тошнит и рвет, жгучая боль в спине и необъяснимая боль в руках и ногах, которые очень туго перевязаны, мне трудно дышать. Наступает запоздалый испуг, и я начинаю плакать. Мне хочется к кому-нибудь прижаться, пожаловаться, как мне больно, хочу, чтобы меня погладили по головке. Но кругом переполох, орут, визжат и плачут абсолютно все дети, а нас много и руки до всех не доходят. Сколько все это продолжалось – не знаю. Теперь уже я не помню, откуда у меня эти знания, что танки прорвались там, где их совсем не ждали. Среди детей было много убитых и раненых. Нашим бойцам удалось оттеснить врага, и нам помогли выбраться из Демянска.



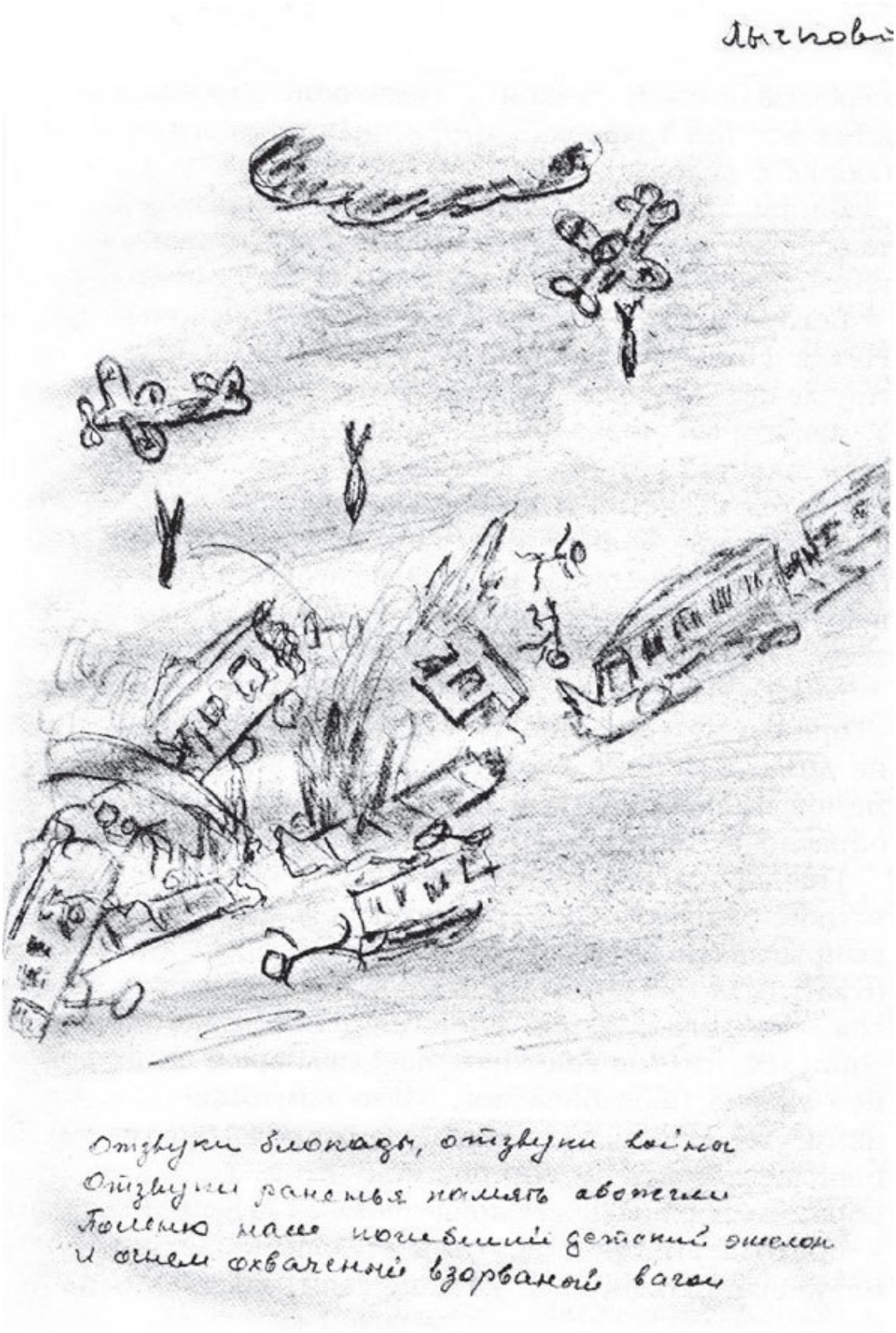
Нас подняли затемно. Стреляли где-то далеко, или, из-за того что я плохо слышала, мне казалось, что далеко. Детей построили и повели по темным улицам. Нас сопровождали военные. Меня положили на подводу с вещами. Шли долго. У большого деревянного дома нас остановили. Дети стали подниматься по лестнице то ли на второй этаж, то ли на высокий первый.

Я смотрела им вслед и боялась, что меня забудут, но мне принесли стакан молока и три маленьких печенюшки «Василек». Наверное, и детям дали то же. Кажется, за детьми приехали подводы, и мы все отправились дальше.

Станцию Лычково, куда нас привезли, сильно бомбили немцы. Там тоже погибло и было ранено много детей. Мне повезло. Телега, на которой меня привезли из Демянска, стояла в стороне от поезда, и нашу группу еще не начали сажать в вагоны. А тех детей, которых посадили, – их всех и разбомбили с паровозом и вагонами вместе. Во время взрывов телега опрокинулась. Меня завалило вещами и телегой. Когда телега падала, на вещи влетел горящий или тлеющий предмет, и у меня на левой стопе, на которой уже была повязка, обгорел бинт вместе с кожей. Тогда мне было 7 лет. Сейчас уже 16, а след от ожога так и остался от пятки до самых пальцев. Наверное, он уже никогда не исчезнет, так же, как и многое другое. На маленькую детскую жизнь той войны хватило с лихвой.

Меня несли на носилках в другой поезд, и я видела, как догорали скелеты вагонов, разбросанные всюду разнообразные вещи, игрушки, горшки, посуда. Детские вещи и куски кровавых тел висели на проводах, остовах вагонов, на кустах и деревьях… И все во мне съежилось…

Вагоны на этот раз были обычные. Меня положили на боковую верхнюю полку. Уши у меня словно забиты ватой. Я вся забинтована как кокон – с головы до пальчиков на ногах. На мне лишь трусики и платье, из которого зачем-то сделали халатик, разрезав или разорвав его сзади. Чтобы оно с меня не сваливалось, его перевязали на мне какой-то тряпочкой. Это я пойму уже дома, что эта тряпочка – оторванная от моего же платья оборка с подола.



Бинты прилипли к телу и больно тянут кожу. Я пытаюсь засунуть под бинты палец, чтобы отлепить их от кожи. Это очень больно, и я бросаю эту затею…

Вскоре я увидела, что в вагоне нет знакомых детей. Нет и Нины Антоновны. А дети – одни сидят, другие лежат, и у всех забинтованы разные части тела. У некоторых через бинты проступает кровь. Многие дети плачут. Тетеньки все чужие и незнакомые. Они ругаются на детей и кричат на них: «Не пищи!» Мне страшно, мне больно, но я не пищу, а тихо-тихо плачу сама себе. Наверное, в нашем вагоне, а может, и во всем поезде были раненые дети из Демянска и Лычкова. Это где-то под Новгородом.

Многие просятся в уборную, а тетеньки кричат: «Терпи и не сопи мне тут, не реви и не ори, тут тебе не дома. Вот приедем в Ленинград, там будешь перед мамой выпендриваться…» Так мы узнали, что нас везут обратно в Ленинград.

По дороге нас часто бомбили и обстреливали немецкие самолеты. Поезд останавливался, и все, кто мог, выпрыгивали из вагона и разбегались кто куда. Жуть охватывала меня, потому что в вагоне оставались только лежачие дети… А при очередной бомбежке поезд так дернулся, что мы как горох посыпались со своих полок. Все сильно поразбивались. Мало нам было того, что с нами уже случилось. Кроме всего прочего, падая, я зацепилась запястьем за проволоку стоп-крана и на руке образовалась большая синяя глубокая дырка. Я валялась в проходе вместе с другими упавшими детьми, орала от ужаса и боли и с ужасом смотрела, как в дырке стали появляться крошечные красные точечки, которые все увеличивались и заполняли собой дырку. Потом из нее брызнула кровь и потекла струйкой и текла до тех пор, пока до меня не дошла очередь. Потом тетенька достала из кармана небольшой коричневый пакетик, и там оказались две пухлые подушечки, соединенные бинтиком. Мне их наложили на руку и прибинтовали, дали что-то выпить и уложили на нижнюю полку. Бинт быстро намок, стал тяжелым, пачкал матрас, на котором я лежала. Противно, до тошноты пахло кровью, сохло во рту и очень хотелось пить…

Что случилось после очередной бомбежки, я уже совсем не могу объяснить. Поезд остановился. Все вышли из вагона. Лежачих тоже вынесли из вагона на поляну под откосом. Зачем? Не знаю. Как долго стоял поезд, тоже не знаю. Почему поезд стал двигаться, если люди не успели сесть в вагон, я тоже не знаю. Бегущих детей стали подсаживать в вагон, и запрыгивали сами взрослые. Поезд набрал скорость и ушел, а лежачие раненые дети остались на поляне под откосом. Мы орали от ужаса до изнеможения. Ползком мы сбились в одну кучку, тесно прижимаясь друг к другу. Мы были раздеты, голодны, беспомощны, без взрослых. Мы даже не знали имен друг друга. Мы орали, засыпали и снова орали, когда просыпались. Сколько это продолжалось, не знаю. И вдруг кто-то стал разбирать нас из нашей дрожавшей и орущей кучи. Когда я пришла в себя, увидела, что меня несет на руках военный в очках. Других детей тоже несли военные. Может, это была одна из наших отступающих частей, наткнувшаяся на нас случайно. Они нас успокоили, накормили и обогрели. Они расспрашивали нас, откуда мы там оказались, в безлюдных местах. Я не знаю, что рассказывали дети. Я не знаю, как долго мы шли, и как далеко это случилось от Ленинграда, и как мы добрались до дома. Все воспринималось так, как складывалось. За такой короткий промежуток времени произошло так много ужасных событий и потрясений, что, будь я и в более старшем возрасте, и тогда не смогла бы все понять и объяснить. Я даже не знаю, кто позаботился обо мне и как я попала в Ленинград… и домой.

Летом 1945 г. эту историю я рассказала в пионерском лагере в Тайцах, на пионерском сборе, посвященном зверствам фашистов на нашей земле.

Дома была только соседка – бабушка Даниловна. Она всплеснула руками и запричитала надо мной. «Охтиньки! Как же это мать-то не знает! Чиво делать-то будем, мать-то давно домой не ходит, как отца взяли…» Уши мои еще плохо, но начинали немного слышать. Очень болела голова, и казалось, что уши заложены ватой. Их распирало. Я не могла понять, где у меня шум и писк – в ушах или в голове. Очень хотелось есть. На столе стояла кастрюля и хлебница, накрытая салфеткой. Из-под крышки пахнуло плесенью, кислятиной и там что-то пыхтело, пенилось и лопались пузыри. В хлебнице лежал кусочек черствого Хлеба. Я сразу начала его

грызть. Неожиданно увидела себя в трюмо и даже перестала жевать от увиденного. Черные от засохшей крови и грязи бинты и платье. На лице чумазые разводы от слез. Бинты растрепались и висели лохмотьями вместе с оборками от платья. Попробовала разбинтоваться, но бинты так прилипли и так было больно, что я бросила эту затею и снова замотала их, как смогла, тем более перебинтованные руки плохо слушались. Я еще в поезде пыталась подсовывать под бинты палец и пыталась их отлепить, потому что они больно тянули кожу. Но и тогда мне это не удалось. Сейчас я была дома и не верила в это. Помню, что мне стало вдруг очень холодно. Я расплакалась, уткнулась носом в постель и плакала, пока не уснула. Когда проснулась, Даниловна накормила меня и стала расспрашивать, что такое со мной случилось. Она много чего еще спрашивала. Но мало того, что плохо слышала, мне совсем не хотелось разговаривать. Да и не понимала я, что же такое со мной произошло. Соседи и знакомые, узнавшие от Даниловны, какая я появилась, приходили на меня посмотреть и тоже допытывались – как? что? где? Приходили и мамы уехавших со мной детей из нашего детского сада и спрашивали про своих детей. Что я могла им сказать, если после Демянска я уже никого из наших ребят не видела, да и мне было не до того. Тогда я даже не знала – раненые дети были только в нашем вагоне или в других вагонах они были тоже. Как и что я отвечала чужим мамам – не помню. Многие из них плакали, жалели меня, и пока не появилась мама, кормили меня и даже хотели отмыть. Но мне хотелось только лежать с закрытыми глазами и чтобы было тихо. У меня все мучительно болело, и мне совсем не хотелось шевелиться. Очень хотелось спать без просыпу. Есть хотелось тоже. И я ела как слон и спала, спала, спала… Постель тогда казалась мне самым безопасным местом. Там можно было спрятаться под одеяло… Все рухнуло как-то сразу. И теперь мне кажется, что очень многое рухнуло навсегда…

Отца забрали на фронт в самые первые дни войны. Сохранилась фотография родителей перед отправкой отца на фронт. Отец в военной форме с тремя кубиками в петличках. Мама осунувшаяся и очень грустная. На обороте дата – 27.06.1941 г., они успели сфотографироваться. Мама пришла с работы, а на столе записка и часы отца «Павел Буре», которые он оставил маме «на черный день». Мама помчалась на вокзал, откуда уезжал отец, но ее на перрон не пустили, и они даже попрощаться не смогли. Брата тоже отправили в эвакуацию с яслями. Ему было 3 года. Оттуда, откуда не знаю, его через какое-то время заберет к себе в Горький бабушка, и он будет жить у них до осени 1947 г.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.